

# Рассказы разных бед



СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

артём сошников

18+

# Артем Сошников

## Рассказы разных бед

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42758944](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42758944)*

*SelfPub; 2019*

### **Аннотация**

«Когда студенты не могут снимать жизнь другого, это значит, что они поглощены чем-то, собственной драмой. Как правило, это отношения с родителями, с мамой. И тут все устоявшиеся метафоры о святом имени мамы выполняют роль убийцы. Тогда я прошу все отбросить и рассказать об этой истории, пусть она очень личная, пусть это пока только мир твоей семьи. Но тебе необходимо рассказать о своих страданиях, раз они не дают тебе двигаться дальше: снять об этом кино или написать книгу». Марина Разбежкина, из интервью «Горькому» Содержит нецензурную брань.

# Содержание

Купе	5
Гробы	13
Витрины	22
Окна напротив	26
Командировки	32

*«Когда студенты не могут снимать жизнь другого, это значит, что они поглощены чем-то, собственной драмой. Как правило, это отношения с родителями, с мамой. И тут все устоявшиеся метафоры о святом имени мамы выполняют роль убийцы.*

*Тогда я прошу все отбросить и рассказать об этой истории, пусть она очень личная, пусть это пока только мир твоей семьи. Но тебе необходимо рассказать о своих страданиях, раз они не дают тебе двигаться дальше: снять об этом кино или написать книгу».*

*Марина Разбежкина, из интервью «Горькому»*

# Купе

– Ну дай хотя бы двадцать рублей. Чаю пойду возьму, ёптаюать...

– Да заткнись уже, сколько можно!

Я вышел в коридор и грохнул дверью. Всю жизнь мне говорят: Олег, твоя совесть тебя погубит – и ведь правда. Давно пора перебороть себя и забить, но я ж спать не могу спокойно ночами, лежу, мозг себе пережёвываю... Вот и завела меня эта совесть в купе с человеком, которого я то ли презираю, то ли конкретно так ненавижу. На сутки. Из которых прошло всего пять часов и осталось целых (сколько там?) девятнадцать.

Я вообще уже года три не езжу на поездах, у меня с детства стойкое к ним отвращение. Но нарколог запретил ему лететь на самолёте – после инфаркта, говорит, может не выдержать, вези по земле, по земле доедет. Дал гору каких-то таблеток и укол на всякий случай. А, ещё порекомендовал заранее предупредить проводницу в составе. Купил ей шоколадных конфет и рассыпного чая. Сначала переживал, что в составе нет дежурной бригады врачей, а потом подумал: чего я волнуюсь? Ну не доедет и не доедет. Бабушку жаль, конечно... А его не жаль. У него совсем башка потекла, засыпать в одном помещении страшно.

Скажете, сволочь? Вы с ним не росли. У меня самое яркое

воспоминание детства – пятно крови на обоях в прихожей, это он маму избил за то, что её подвёз домой какой-то шофёр с завода. Мама потом неделю встречала меня после школы за гаражами, стыдно ж появляться перед людьми с фонарём и разбитым носом, да и у меня потом за спиной будут шептаться: вот, мол, живёт Забелин в неблагополучной семье, бедный мальчик. Мама вообще лишнего обо мне заботилась, лучше бы о себе подумала. Наверное, потому и ушла пять лет назад, извелась. А он жив, сидит в купе и думает, где бы накатить без палева.

Сейчас главное не накручивать, отвлечься, послушать музыку с телефона. Я включаю какое-то техно, просто для того, чтобы не терзать себе душу лишней раз депрессивными текстами, сосредоточиться на электронном бите и размеренном стуке состава. Но не успевает начаться первый трек, как дверь нашего купе дёргано отодвигается и он вываливается в коридор. Я тянусь к наушникам и вижу его наигранно-беспечные взмахи рукой:

– Да слушай-слушай, я покурить схожу...

А я всё равно снимаю наушники и шагаю за ним, потому что знаю я, как он ходит покурить: будет ковылять через весь состав, искать какого-нибудь колдыря, найдёт и уболтает его поделиться водкой. И тогда всё пропало, можно спокойно сбросить его с поезда, потому что везти развязавшегося алкаша в Петербург толку нет, а возвращаться на родину – тем более. Зачем тогда я столько мучился?

– Да чё ты за мной таскаешься как шавка, Олег! – недовольно буркает он, дёргая ручку тамбура.

– Я ни на шаг от тебя не отойду, понял? – рычу, выдавливаю из него последние остатки надежды.

– Дай своих покурить тогда...

Я достаю из пачки Парламента три сигареты, одну себе и две ему. Мы купили у проводницы лотерейных билетов и договорились иногда смолить между вагонами.

– Как ты их куришь, ёптить, слабые какие... – снова бурчит он, затягиваясь как можно глубже, – Табака-то нет, наверное... А стоят дохуя.

Я держу дверь за ручку и периодически озираюсь взад-вперёд.

– Кури быстрее. Сейчас соседи нажалуются, будешь до Питера спички в купе грызть.

– Снова ссышь, – укоряет он меня, но прикуривает от хабарика вторую.

Потом я жду, когда он доковыляет до купе обратно. Он и не ходит уже толком, допился – ноги ломит, пальцы почти ничего не чувствуют. С бутылкой его разлучит только гроб. Но я ж не могу сидеть, ждать, когда заплаканная бабушка позвонит мне в Петербург и сообщит, что он траванулся палёнкой; или поскользнулся пьяным на льду и раскрошил себе череп об асфальт. Так что я решил попробовать, потратить денег и засунуть его в центр реабилитации алкоголиков. Я специально поехал на Московский проспект, два часа сидел

в окрашенном салатовой краской коридоре. Потом какая-то полная женщина смотрела на меня строгим бесчувственным взглядом – понятно было, что таких, как я, у неё сотни и она давно уже не испытывает к нам ни капли сочувствия. Задавала практичные вопросы: Сколько лет? Как часто пьёт, прерываются ли запои? Работает? Сопутствующие заболевания, осложнения? И с каждым ответом я понимал всё лучше: его не возьмут, потому что он – отработанный материал, свободное место лучше отдать сорокалетнему слесарю с несовершеннолетним ребёнком, у которого всё же есть шансы на реабилитацию. Я не дурак, я догадался и уже собирался уйти. Мне даже стало полегче, я убедился в том, что я бессилён, но тут она резко сменила тон и спросила, работаю я или учусь? Есть ли у меня возможность взять кредит? Их центр открыл платное отделение, сорок тысяч рублей за месяц лечения, принимают без очереди... А я копил на первый взнос... и, ладно уж, могу отдать эти сорок тысяч хоть сейчас, ну или через полчаса – метнусь до банкомата, если не принимают карты. Но я, конечно, сделал вид, что подумаю, позвонил им на следующий день, договорился о рассрочке. А то вдруг поймут, что я при деньгах. Начнут раскручивать на всякую хрень...

И вот я поймал удачный момент – его разбил инфаркт, он валялся в кардиологии – поехал на малую родину, запер его после выписки в спальне и две недели сторожил, как верный пёс, не давал пить, заставлял глотать таблетки. За эти



две недели он вытянул из меня последние нервы, а я, в свою очередь, припомнил ему вообще **всё**: и как он, сука, ни разу не позвонил умирающей маме, и как припёрся на похороны пьяный и выпрашивал на поминках водку, и как в детстве я прятался и дрожал за креслом, пока он громил квартиру. Я сказал, что даю ему последний шанс, реально **последний** шанс и если он им воспользуется – так и быть, я буду поздравлять его с новым годом и днями рождения. Но на большее... Хер.

Он всё это выслушал и даже не извинился.

А он не умеет извиняться. Даже сейчас, когда он разворачивал тщательно упакованную бабушкой в фольгу жареную курицу и уронил её на мою постель, он не извинился. Я стерпел и накрылся испачканным одеялом, лежу и делаю вид, что сплю. Просто для того, чтобы он со мной не разговаривал. От него невыносимо несёт табаком (всю жизнь от него так несёт). Почему? Я тоже курю, но от меня же так не воняет. Видимо, запах уже въелся ему под кожу.

Мне снится какая-то муть... Живые мёртвые, в моих снах они почему-то не болят и мне от этого тревожно. Когда я просыпаюсь, в купе темно, лишь в окне медленно мелькают фонари пустого перрона. Трогаемся. Я приподнимаюсь на полке и вижу, что в купе никого нет.

Не усмотрел.

Ругая себя за то, что завтыкал первым, тут же вылезаю в коридор. У окна, естественно, никого нет. Я бреду к про-

воднице, которая сидит у себя в купе и заполняет какие-то бланки, спрашиваю, не подходил ли он, не просил ли продать спирта. Я уверен, что бабушка дала ему денег (не могла не дать) и он их хорошенько заныкал. Очень хорошо заныкал – я обыскал и куртку, и штаны, не нашёл ни рубля. На эту заначку он купит себе бухла при первой же возможности.

Проводница не сознаётся даже после предложения опустошить кривой поднос с шоколадками, говорит, что давно уже сидит здесь с открытой дверью и «ваш папа» мимо не проходил. Жаль, впереди всего два вагона, а он, хитрожопый, ушёл в хвост состава. Ничего, далеко не укувыляет. Я покупаю два сникерса, закидываю их не глядя в купе и рву дверь тамбура на себя. Прохожу такой же купейный вагон – толстый мужик прижимается пузом к стеклу, пропуская меня дальше, но мне всё равно не хватает места. Задеваю рукой его потную спину. Мерзко.

За купейным – три плацкартных. Замедляю ход, внимательно смотрю по сторонам на спящих детей, разложенную на столе нехитрую снедь, занавешенные простынями боковушки. Две компании тихо выпивают, но его к себе не посадили бы – молодые.

Мимо меня мелькают верхние полки, везде темно и сложно разобрать закутанные в одеяла тела. Может, он напился и спит где-то на свободном месте? Нет, его бы выгнали, он громко храпит и бредит во сне, постоянно орёт что-то пьяный.

С каждым разом вагонов впереди всё меньше и вот я выхожу в последний тамбур, передо мной только запотевшее стекло. Протираю его и вижу, как на фоне горящих поездных фар кружится метель. Проводница не продала ему спирт, он попёрся на вокзал и отстал от поезда. Что это за город был, Ярославль? Ну, придёт к ментам, документы у него с собой. Или выпьет с горя и замёрзнет где-нибудь в окрестностях. Или прирежут за пятьсот рублей и дешёвый кнопочный телефон. Его уже не раз избивали и грабили пьяным.

Обоняние чует знакомый запах спирта и табака, поворачиваю голову – в углу ныкается какой-то челдон, посматривает на меня. Из под мышки торчит горлышко бутылки, на неё насажен столбик одноразовых стаканов.

– Извини, не видел здесь мужика такого хромого? Выпить искал.

– Не, не видал. Один тут пью, – криво улыбается челдон.

Я достаю из кармана пачку и кручу её в руке туда-сюда. Если он ушёл на вокзал, то обязательно надел куртку. Он себя любит, в одной рубашке на мороз не пойдёт... Надо бы вернуться в купе и проверить, на месте ли куртка.

– Слушай, – говорю я челдону и протягиваю пачку, – Налей сто грамм. За сигареты.

Челдон щурится и тянет нос к сигаретам.

– Парламент.

Челдон удивленно кивает, снимает из стопки верхний стакан, остальные прячет в карман. Наливает на три пальца, но

я не спорю. Опрокидываю в себя, жмурюсь, опознаю паршивый коньяк.

– Спасибо, – отдаю полупустую пачку и, не оборачиваясь, ухожу из тамбура.

Меня немного развозит на голодный желудок. Кровь потеплела, внутри ничего не ноет. Другое дело.

Иду долго, минут семь. Поезд набрал ход и шатается из стороны в сторону, а я гляжу только прямо, потому что высматривать его по сторонам нет уже никаких сил. Молодая компания улеглась спать, простыни потихоньку сползают с боковушек, потный мужик больше не стоит у окна. Я дёргаю ручку тамбура и затем, сразу же, ручку купе. Вижу его чёрный замызганный пуховик, захожу, опускаю глаза вниз – он сидит и пялится в окно. Что он там рассматривает? Город уже далеко, ночь, темно, даже лес не различишь.

Падаю на полку, отворачиваюсь к стене. После коньяка хочется курить.

– Чего шоколадками разбрасываешься, ёптаюать? Богатый стал, что ли?

Не отвечаю.

– Олег! С тобой говорю, вообще-то!

Не отвечаю. Не буду отвечать.

Шестнадцать часов буду ехать молча.

# Гробы

Сейчас я опишу вам мою родину буквально в два предложения и вы сразу всё поймёте. Курю я как-то у супермаркета часов в одиннадцать вечера и вижу: пьяный мужик тащит такую же пьяную бабу в кусты, что растут за парковкой. Не то чтобы насильно тащит – скорее, настойчиво. А за этой бабой семенит ребёнок лет трёх и громко так, на всю площадь, кричит: «Мааам, ты куда? Мааам!».

Хотя нет, двух предложений недостаточно, придётся много о чём рассказать. Например, о том, как с двенадцати лет тебя пытаются подтянуть на район работать с пацанами. Или, если выразаться языком обычных граждан, мусоров и депутатов, заставляют стать «членом преступной группировки». Сначала тянут по-хорошему, затем угрожают, а если ты упорно не поддаёшься, начинают щемить. На каких-то районах ситуация полегче, отказ работать с пацанами приводит лишь к насмешкам и периодическому отъёму предметов, представляющих ценность: мелочи, часов, позже – мобильного телефона или дорогих кроссовок. Но есть пара районов, на которых тебя регулярно пиздят и ставят на бабки, пиздят и ставят на бабки, пиздят и ставят на бабки. Тогда твои родители продают хату, переезжают в место поспокойнее.

Я видел классы, в которых восемнадцать из двадцати учеников работали с пацанами. Все как один в чёрных водолаз-

ках и спортивных штанах, в зимнее время к образу добавлялась куртка-аляска и шапка-гондонка. Если погода кусалась, то гондонку натягивали низко, практически на глаза, а ранней весной или поздней осенью ставили её на затылок – так, чтобы она торчала вверх, напоминая спермосборник у презерватива.

Как же всё это добивало. Я учился с ними в одном классе, гулял в одном дворе, жил на одном этаже. Они с младших классов мечтали «махаться за поповских / кутузовских / староцерковских», искали по кустам найденные на школьных дворах монтажки – спиленные прутья чугунных заборов или украденную на стройке арматуру, щедро перемотанную изоляцией у основания. В девяностые по районам бегали толпы пехоты в чёрном и лупили друг друга этими монтажками, деля территорию, рынки и парковки. Во дворе регулярно хоронили пацанов лет шестнадцати-девятнадцати. Никто, кроме матерей, толком не плакал. Быстро привыкли.

Но эти толпы я помню плохо, скорее с рассказов мамы. Чуть позже, году в 98-м, меня нередко останавливали с друзьями какие-нибудь поповские или заводские, заставляли прыгать на носочках – проверяли, не звенит ли в карманах мелочь. Во главе стаи всегда ходил смотрящий, он складывал отобранное в поясную сумку, похожую на кондукторскую. Нам не предлагали стать частью стаи.

Не предлагали вплоть до 2003-го, когда мы перешли в седьмой класс.

Микрорайоны и парковки к тому времени уже поделили, прежних лидеров перестреляли, наступили «вегетарианские времена». Младшие пацаны иногда пилили монтажки, но чаще всё же выполняли мелкие поручения старших или метили стены домов тегами группировок. Теги всегда были примитивными, гопники ограничивались аббревиатурами. Например, староцерковские метили территорию знаком СЦ, а кутузовские использовали латинские буквы KNR (Кутузовская Народная Республика; откуда пошло, никто уже и не помнил).

Меня потянули на район летом, но я сразу же отказался. Знаете, пугала грубость или дремучесть гопоты, не знаю как сказать. Никто из них книг не читал, русский рок не слушал, историей тоже не увлекался... Я готовился к худшему, так как паре знакомых из соседнего двора уже приходилось несладко, но мне повезло – щемить не стали, просто определили в ботаники. Семья моя жила бедно, поиметь с нас было нечего.

Мы с друзьями перестали появляться во дворе: если до десятилетних детей гопникам не было дела, то в возрасте тринадцати лет гулять вечером без поддержки стало рискованно. Поиграть в футбол на школьном дворе тоже не получалось, по вечерам кутузовские проводили там свои сборы: проверяли, все ли пацаны на месте, наказывали за косяки, собирали на общак и раздавали указания. Я засел дома, стал читать много книг. Втайне надеялся переждать – к тому же,

отец закодировался и сбегать от его дебошей во двор уже не хотелось.

Но никому, вообще никому не удалось отсидеться. Вот и мне не удалось. На первом этаже жил Денис или, как мы его называли, Дэнчик. Всё детство мы гуляли в одном дворе, а наши отцы бухали вместе у подъезда или в наливайке недалеко от дома. «Сто грамм и огурчик – тридцать рублей». Но после кодировки мой отец стал неплохо зарабатывать (купил всем дублёнки и зимние ботинки на меху, мама заказала кухонный гарнитур), а отец Дэнчика по-прежнему шкилял мелочь и грузил на рынке чуркам помидоры. Дэнчик пошёл работать со староцерковскими – и принялся вымещать на мне всю свою злобу и зависть.

Сначала просто надменно здоровался, оценивающе поглядывал на дублёнку. Затем полушутя начал выдавать что-то вроде «пиздатые ботинки, надо бы с тебя их как-нить снять», на что я глупо хихикал, хотя про себя отчётливо понимал – ни хрена не шутит. За полгода Дэнчик превратился в Колесо: неопрятный сын алкоголика, носящий замызганную одежду не по размеру, оделся с ног до головы в чёрное, натянул на затылок гондонку и научился вальжной походке.

Этой вальжной походкой, раскидывая ноги в стороны и держа руки в карманах спортивных, он и подошёл ко мне где-то в середине октября.

– Куда пиздуешь, Грустный? – спросил он с вызовом.

– Домой...



– У тебя, небось, и компьютер там есть, да?

– Да не, какой компьютер, ты чё...

У меня действительно не было компьютера. Я что-то слышал про них в то время, но не видел даже на картинках. Я и видика-то вживую не видел, если честно.

– А ты чей вообще будешь, Грустный? Мамин? – Колесо залиvisto засмеялся, затем сразу же смачно харкнул на стену дома и сменил тон на угрожающий:

– С кем-то работаешь, лазаешь? Поддержка есть у тебя?

– Дэнчик, ну ты чё...

Гопнический шаблон я знал наизусть. Он состоял примерно из десяти фраз и пары нюансов. Например, на вопрос «с какого ты района?» нужно было отвечать не «с кутузовского», а «я живу на кутузовском». «С кутузовского» означало «я работаю с этим районом». На таких мелочах часто прокалывались лохи. Сразу же после роковой ошибки гопы начинали гнать:

– Кто у тебя старший? Как никто, ты же сам сказал, что ты с кутузовского района. Вот у нас тут кутузовский пацан живёт в подъезде, ща мы его позовём. Знаешь, что делают с теми, кто представляется кутузовскими? Они сразу же тебя на берег Сенберки увезут и об деревья ебалом повозят. Ну так чё, зовём?

В конце концов гопы милостливо соглашались замазать косяк лоха за двести рублей – если, конечно, он принесёт их к пяти часам на это же место. И лох ходил, искал, занимал,

вытаскивал из кошелька у родителей. От гопов не спрячешься, пробьют где ты живёшь в два счёта.

Я на такие разводки не вёлся и всегда знал – если *доебались* и у тебя нет поддержки, гопы при любых раскладах перейдут к вымогательству или обыску. Я не стал ничего отвечать Колесу. Он же, услышав позабытое до-криминальное имя, моментально вскипел:

– Какой я тебе Дэнчик, бля! Слыш, ты... Ты, короче, чёрт и фраер. По жизни, поэт? А черту и фраеру должно страдать. Снимай ботинки!

Ботинки я бы не снял. Понимал: сними я ботинки, обратной дороги не будет, я лишусь не только дорогой обуви, но и последнего шанса остаться где-то вне гопов и лохов. Я помотал головой и отшагнул назад.

– Ты чё, ссука! – Колесо достал руку из кармана и приготовился отвесить леща, – Гробы сюда отдал, быром!

И тут я, испугавшись, замахнулся тяжёлым ботинком и зарядил Колесу правой ногой прямо по коленной чашечке. Он растерялся и замер.

А меня прорвало. Со всей силы я ударил его той же правой по рёбрам, а затем, не менжюясь, толкнул в грудь левой (подсмотрел такой удар в фильме ван Дамма). Колесо начал шипеть матерные слова и пятиться. Я понял, что дальше нужно пробить ему в челюсть. Но это была бы уже серьёзная драка. Ударить человека по лицу я тогда не мог.

– Тебе пиздец, чёрт! – шипел Колесо, то хватаясь за ча-

шечку, то прикрывая рёбра, – Тебя завтра найдут и обоссут!

Но не бил. Сменил одежду, нарыл где-то гондонку, а внутри остался таким же Дэнчиком-трусом, убегающим от ботаника Грустного.

Он так и зашёл спиной в подъезд, прокричал «ща вынесу нож и порежу тебя, поэт?!». Хлопнул дверью своей халупы, но не вышел – я прошмыгнул в лифт и, подрагивая от адреналина, нажал на кнопку шестого этажа.

Я вернулся домой в ботинках, я победил. Но завтра... Завтра у подъезда меня встретит его старшак и человек пять пацанов-ровесников. Резко погонят на меня, запинаят толпой, утащат в подъезд, снимут всё, что можно и стопроцентно опустят. Гопы всегда жёстко наказывают тех, кто посягает на членов их стаи.

Всё, что мне оставалось – думать. Думать, как мне выкрутиться из тупика. Возвращаться чёрным ходом? Встретят у школы. Остаться дома, притвориться больным? Отмазка дня на три, до первого врача. Не ходить больше в школу? Вообще нереально, мама такого не допустит. Нет, отсидеться не получится. В какой-нибудь вторник раздастся звонок в дверь, мама пойдёт открывать, мой лучший друг Макс выпалит «здрассе теть-вет а олег выйдет?». Я откажусь идти гулять. Мама скажет что-то вроде «ну иди хотя бы поздоровайся!», я высунусь в тамбур и тут дверь широко распахнётся, перепуганного Макса оттолкнут в сторону и отметелят меня прямо у двери собственной квартиры.

Когда в шесть вечера отец хлопнул входной дверью, я так ничего и не придумал. Отец спешно разделся, навалил в жестяную миску борща, поставил его в зале на табуретку и включил хоккей.

Я не стал его дёргать, бесполезно – играл его любимый ЦСКА. В перерыве, когда он понёс обратно пустую миску, я зашёл следом за ним на кухню и рассказал ему всё по порядку.

Отец прекрасно знал про группировки, он вырос на «оврагах», самой окраине города. Подробно расспросив про «витькиного пиздюка» (так он называл Дэнчика-Колесо), отец досмотрел хоккей и пошёл звонить к соседям, а я понуро вернулся в комнату, ожидая своей участи.

Отец заглянул перед сном и сказал, что мой вопрос решат. Он не ругал меня за проблемы и не хвалил за то, что я не снял ботинки – просто нейтрально произнёс «живи как жил дальше» и отправился курить в туалет.

Дорога до школы и обратно... Про неё тоже можно много чего нарасказывать. Путь «туда» наиболее приятный, если у тебя нет тёрок с кем-то конкретным, кто ходит той же дорогой – точно не доедутся. Этими же улицами ходят учителя, взрослые тащатся на работу, кругом толпы. Главное, обходить палисадники и закоулки школьного двора, где гопы обычно курят перед уроками.

Гораздо опаснее обратный путь. Гопникам влом возвращаться домой, там их пилит мамка или бабушка, да и в це-

лом уроки им делать не нужно, заняться особо нечем, так что они шатаются по районам и ищут приключений. Здесь уже приходится думать, по чьей территории прошмыгнуть, как аккуратно обогнуть киоски и детские площадки, стоит ли идти через аллею или лучше прижаться поближе к подъездам. Чем-то напоминает сапёра на компе или однорукого бандита.

В тот день я нервничал и по дороге в школу, и на обратном пути. Любой прохожий в чёрной одежде дико меня напрягал, а в чёрном ходили практически все – то есть, вы поняли, напрягал меня каждый первый.

Никто меня не остановил, не подкараулил. Отец действительно решил мой вопрос.

Уже потом, позже, я узнал, что он позвонил родному брату, моему дяде Сене. Дядя Сеня корешился с Лохматым – авторитетом «карьеров», ещё одной коммунарской группировки. Лохматый сходил к знакомым кутузовским старшим и рассказал, что Колесо не встал в отмах против пацана без поддержки. Он убежал домой, как тёлка. Колесо тут же отшили, предварительно сломав ребро на сборах. Говорят, он расплакался и сидел там в снегу, пускал слюни.

Узнав, я не пожалел Колесо. Я позлорадствовал.

Так ему и надо, черту ебаному.

# Витрины

Мне было шесть и я смеялся: мама принесла какао «Несквик», детские гантели, апельсин и плюшевого бегемота фирмы Торрі. Недолго думая, мы назвали его Топиком. Я то и дело забегал на кухню, залезал сначала на табуретку, потом на столешницу, открывал дверцу шкафа и тыкал пальцем в нос весёлому зайцу. Настоящий. Как в рекламе.

Я не понимал – как так, у меня праздник, а мама грустная. Она стояла у раковины и мыла посуду скрипучей тряпкой. Мама говорила, что не успела взять мне фруктов – их привезли, но совсем мало. Денег бы ещё привезли – качала головой мама. А я удивлялся. Зачем деньги, если есть гантели и какао?

С тех пор прошло двадцать лет, я ем мясо каждый день, а не только с зарплаты. Мы сидим в солнечном кафе в центре Кёльна, вокруг нас комнатные цветы, на коленях покоятся салфетки. Мама взяла себе стейк и томатный суп. Теперь она думает о питании, соблюдает диету, теперь есть, из чего выбирать. Помнишь, я обещал тебе купить чёрную блестящую Волгу с водителем? – спрашиваю я, глядя в окно. Она улыбается, я смеюсь. Волги давно уже не выпускают.

На самом деле, я мечтал подарить маме чёрный Мерседес, точно такой же, что стоял у меня на полке. Новый, блестящий, похожий на лакричную конфету. Он подъезжает к ре-

сторану спустя час, мы садимся и возвращаемся в квартиру. Водитель предлагает выбрать музыку, услужливо открывает маме двери, желает хорошего вечера. Да, номинально автомобиль не наш – но всё же, мама, я смог. Похоже, я держу свои обещания.

В Кёльне пусто, улицы застыли, как на картинах Хоппера. Магазины не работают, но витрины светятся круглые сутки. Как так? – удивляется мама – У них что, дешёвое электричество? Я говорю, что не знаю. Почему-то они глушат автомобили на красный, но не гасят свет в собственных магазинах. Наверное, рождественская атмосфера важнее денег. Наверное, Рождество – единственное время в году, когда деньги неважны.

Телефон гудит в кармане, с карты списывают средства, но я не заглядываю в сообщения. Посчитаем потом, когда вернёмся в нашу холодную двушку на окраине города, где дороги покрыты рытвинами и льдом. А пока везде светят гирлянды, мигают лампочки, на улицах стоят ёлки, которые никто не ворует.

Наш сосед-беларус говорит, что после Рождества ёлки тут никому не нужны, никто не ставит их на новый год и не держит наряженными до мая. Мама смеётся и утверждает, что хочет здесь жить. Не так-то это просто, тебе придется выучить язык. Я учила его в школе, я даже понимаю некоторые фразы. Посмотри, как счастливы здесь старики, посмотри, как спокойно ходят по улицам молодые.

В Таиланде, конечно, совсем не так, абсолютно другой мир. Зато там солнце, вкусные фрукты, океан морепродуктов. Мяукающий рай. Ты вообще слышала что-нибудь о Таиланде в советское время? Могла представить, что побываешь? Мама говорит, что не слышала, что и представить себе не могла, что где-то можно жить настолько безопасно. Но еще удивительнее то, что сын возит её в отпуск, что не надо менять мне пелёнки, что отныне я решаю её проблемы и забочусь о ней.

Я действительно забочусь, хоть и своеобразно. Отключил телевизор, купил ноутбук. Мама неожиданно легко научилась работать на нём самостоятельно и почти ничего не спрашивала. Выкладывает фото в Одноклассники, хвалится перед теми, с кем выросла в одном военном городке. Они не виделись тридцать лет, облысели, располнели. Мама щурится, прилипает к экрану, а я беззлобно ругаю её за гордыню.

И всё-таки мне больше всего понравилось здесь – говорит она, допивая чай в кафе недалеко от набережной Рейна. Не торопись, мама, мы многое ещё посмотрим. Всю жизнь ты видела только хрущёвки, ларьки и станки, кирпич, типографскую краску, холод твоих химических лабораторий. Ты тёрла тарелки ледяной водой и мечтала мыть голову шампунем, а теперь я могу показать тебе свет и добавить всё то, что ты на самом деле заслужила.

Я хочу, чтоб она растрогалась, но никак не распознаю ускользающую эмоцию. Стекло бликует и совсем не видно



лица. И нет никаких мерседесов, нет никаких смс, я сижу на спальном мешке у магазина одежды, глажу пса и считаю мелочь в картонном стакане. Не будет ни перуанских альпак, ни исландских гейзеров, мне ничего из этого уже не нужно, я лишь поворачиваю книгу к светящейся витрине и радуюсь, что хозяин не выключил свет.

Потому что Рождество, пожалуй, единственное время в году, когда деньги совсем неважны.

# Окна напротив

Раз уж я заболел и не выходил из квартиры пять дней, решил поразвлечься и последить за соседями. Мне повезло (хотя раньше я считал иначе), окна моей квартиры выходили на соседний корпус и рассмотреть людей напротив не представляло большого труда. Я вытащил на балкон стул, хорошенько укутался в шарф и взял собой стакан с терафлю – согреть болеющее нутро.

Я понимал, что рискую; понимал, что холод, пришедший к нам традиционно в конце октября, способен довести меня до осложнений. Десять лет назад я уже покурил простуженным на балконе – и все новогодние каникулы провёл в стационаре, принимая в задницу уколы от острой пневмонии. Но пять дней в душной непрветриваемой комнате, гора капель, порошков и таблеток довели меня до исступления, мне хотелось упереть свой взгляд куда-то кроме двух сияющих в комнате мониторов: ноутбучного и телевизионного.

Довольно быстро я почувствовал, как нутро подло дрожит под лёгким пуховиком – окно пришлось закрыть. Соседи вели себя легкомысленно: зажигали свет и не задёргивали шторы, ходили по комнатам в трусах, хватали еду из кастрюль руками, целовались. Я постарался отсесть в тёмный угол и посматривать украдкой; порой возникало желание включить камеру на телефоне и увеличить масштаб, рассмотреть неко-

торые сцены в деталях. Через час, уже подумывая вернуться в измятую постель, я заметил мужчину на восьмом этаже, который мелькал в окне словно маятник – вот на него я мог смотреть без украдки. Мужчина сверлил взглядом пол.

Порой я видел, как меняются предметы в его руках, но не мог разглядеть, какие именно. Пришлось отыскать в комодке старый театральный бинокль, который валялся у нас уже лет десять, не меньше. Как театральный бинокль оказался у нас дома, я не уточнял – знал только, что никто из нашей семьи не ходил по театрам.

Пока я искал бинокль и немного погрелся у ещё не остывшей плиты, свет в комнате мужчины уже погас, остались лишь неяркие блики на стенах его квартиры. Похоже, мужчина смотрел телевизор. Расстроенный, я вернулся в постель, закутался в одеяло и попытался заснуть. Сквозь наваливающуюся дрёму я чувствовал, как меня колотит.

Кажется, поход на балкон действительно был плохой идеей.

И, знаете, лучше бы я не просыпался. Восстал в пятом часу вечера, мокрый, холодный – даже испугался, что уже труп. Сильно болела голова, нос не дышал, боль раздирала горло. Я тут же ринулся запихивать в себя лекарства: обжигая губы, выпил терафлю, прыснул в нос спреем от насморка, съел мятный леденец. На улице темнело, люди напротив зажигали свет. Подойдя к балконной двери, потянулся за оставленным там же биноклем – и с радостью обнаружил, что сосед-

ние окна видны даже отсюда. Не найдя в себе сил рассматривать чужие жизни стоя, притащил с балкона стул (не закутался перед выходом, замёрз за секунду – ещё пожалею об этом). Сидя на стуле, прислонил бинокль вплотную к дверному стеклу.

Мужчина на восьмом этаже снова шагал из угла в угол. На этот раз я смог разглядеть детали – в руке он держал бутылку вина с оранжевой этикеткой; поверх шерстяного свитера болтались провода от наушников, лица же я не рассмотрел. Он отпивал из горла и задумчиво кивал в такт музыке. Данное зрелище быстро мне наскучило, но через несколько минут мужчина вернулся, зажимая бутылку подмышкой. В руках он держал тарелку, из которой ложкой лениво клевал что-то рассыпчатое. То ли макароны, то ли рис... Еда сваливалась с ложки и падала на пол. В конце концов бутылка выскользнула у него из подмышки и он отпрыгнул, побоявшись то ли испачкать штаны, то ли порезаться об осколки. Вздыхнул, перешагнул через невидимую мне лужу и ушёл прочь. Появился через пару минут – уже без тарелки, но с новой бутылкой.

Периодически он уходил в слепую для меня зону; думаю, там располагалась гостиная. Его однообразные шатания и завораживали, и бесили меня, так что я периодически отвлекался и смотрел вниз, на людей, забегающих в парадные. В конце концов мужчина снова пропал надолго, но возникшую скуку своим смехом и визгом разбавили соседи спра-

ва – вторые сутки что-то праздновали, пели караоке. Разбираться или жаловаться не было сил, так что я умылся, нагрел кипятка и сел пить чай, прислушиваясь к поющим пьяным людям. Они что-то громко обсуждали, смеялись, но в конечном счёте я мог различить только мужской отрывистый мат.

Ближе к ночи соседи упились и уснули, а окно мужчины оказалось распахнутым настежь. Сам он, по пояс голый, стоял недвижимо, грубые тени от ночных фонарей подчёркивали его подтянутый рельеф. Вылитая статуя! Я хотел было выйти на балкон и прокричать ему что-то вроде «закрой окно, идиот, замёрзнешь!», но, проговаривая эту фразу на кухне, понял, что осип.

Увиденное так смутило меня, что я и сам беспокойно зашагал по квартире. Каждый раз я бросал взгляд на его окно и каждый раз заставлял там одну и ту же картину. Он стоял и не двигался.

Последующие часов десять помню смутно... Очнулся уже засветло, часов, наверное, в шесть утра. Мужчина, весь бурый от переохлаждения, стоял у кухонной стойки и тряс каким-то предметом. Затем он отодвинулся, я увидел в бинокль рюмку – похоже, посыпал водку перцем. Он пил, наливал новую порцию из бутылки, снова тряс и снова пил. К тому времени горло моё воспалилось настолько, что я уже не мог даже языком пошевелить, не то что произнести фразу. Отчего-то (возможно, в бреду) я подумал, что и мне поможет водка в перцем, не даром же дед лечился ей всю свою

долгую жизнь. Я распаковал поллитровку Абсолюта, подаренную коллегами на юбилей, выпил три рюмки – горло обожгло, стало только больнее.

Где-то через полчаса я надумал вызывать скорую. Сейчас... это было в тот момент, когда я понял, что брежу: часы показывали что-то около восьми, а на улице не было ни одного человека. Прежде чем нажать кнопку вызова на телефоне, я специально подошёл к окну, высмотреть хотя бы пару прохожих... И увидел, что мужчина стоит на табуретке прямо посреди кухни, привинчивает что-то к лампочке. Петлю. В бинокль чётко видна была верёвка – белая такая, толстая. Бельевая.

Смутно помню, как подорвался, напялил на себя пуховик, влез в кроссовки невероятно быстрым движением, даже шнурков не завязывал, хотя обычно всегда шнурую обувь туго – привычка с детства, чтобы не сорвали, не отняли. Спуск по лестнице дался мне невероятно тяжело, всё вокруг скакало, меня лупил озноб и дышать было совсем нечем – в дыхательные пути будто ваты набили, мне казалось, что я даже начал синеть. Толкнул дверь парадной всем телом, потом залетел в дом напротив... У нас ключи подходят ко всем парадным, мы в УК пишем чуть ли не каждый день, но они почему-то не шевелятся. Я уже знал, на каком этаже он живёт и просто побежал дёргать всё ручки подряд, колотить в двери. И вот самая крайняя дверь справа, ровно такая же, как у меня, неожиданно поддалась, я влетел в квартиру и ми-

гом узнал обстановку – я же рассматривал её больше суток. А мужчина уже болтался на верёвке и у меня потемнело в глазах, голову сдавило, будто клещами. Я подбежал к нему, не зная, как подобраться и зачем-то схватил его за подрагивающие ноги, развернул к себе лицом...

И увидел в петле себя.

.  
. .  
.

А потом, видимо, упал в обморок. Очнулся уже здесь, в палате. И теперь они каждый день, представляешь, каждый божий день таскают меня в кабинет и уверяют, что я сошёл с ума, что «пытался совершить суицид». И никто не может мне просто и ясно сказать – спасли того мужика или всё-таки не успели?

# Командировки

Я понял сразу: что бы я сейчас ни сказал, прозвучит по-идиотски. Как это, всё же, наивно: прижались друг к другу щеками и отстранились, так и не взглянув друг на друга. Я тут же пошёл вверх по улице; стараясь выровнять скачущее дыхание, закурил.

Дождь усиливался, я хмурился – нет, ну серьёзно... Будто в дешёвой мелодраме. Не хватало только снега и мерцающих звёзд на небе. Как назло, Spotify выдал щемящую музыку – и по мере приближения к вокзалу хмурость моя уступала место давно забытому чувству, так и не описанному подходящим существительным. Я изнывал, изнывал так же, как и десять лет назад, когда был ещё наивным первокурсником. Втайне мне нравились и дождь, и щемящая песня, и докуренная почти сигарета, казалось, что я снова ухватил молодость за хвост, эмоции пробили заостенелое нутро – но я знал, что они вернуться несколько раз в выходные и снова затихнут, уступят место обедам в контейнере, людному офису, вечерним посещениям спортзала.

Последние годы единственная эмоция, испытываемая мной регулярно – стыд. Мне стыдно за мысли о других женщинах, стыдно за то, что я представляю какие-то несуществующие встречи, романтические ситуации. Стыдно и перед женой (она хороший человек и не до конца понимает, каков



я), и перед собой – грош цена моей прямоте и моей честности, если втайне я представляю себя с другими.

В такие моменты хочется удавиться. Но я понимаю, что дело даже не в сексе; если б мне хотелось секса, сходил бы в бордель, но я не иду. Похоже, я пытаюсь уловить что-то давно забытое: неуверенность и волнение, блеск в глазах, незнакомые ранее интонации.

И нередко мне удаётся. Знаете, это же отели, это вино на оплаченном компанией ужине, это коллеги, которым что только не приходит на ум после нескольких бокалов.

Вот и мы встретились у неё в номере, придумали какую-то глупую причину вроде неработающего вай-фая или шумных соседей. Нам нужно было готовиться к презентации и мы сидели прямо на кровати, потому что в номере не поставили стол. Её реакции, смех медленно вгоняли меня в ступор. Я понимал, что нужно что-то придумать, решиться, но каждый раз взгляд мой падал на её правую руку. Тонкое золотое кольцо – вот она, точка, которую я не преодолею. И я весь вечер вил намёки, понижал тон, ходил вокруг да около, старался не замечать вопросительных взглядов.

Разнервничался, сходил покурить. Долго потом полоскал рот листерином в своём номере, намывал руки. Вернулся, открыл принесённый ром, глотал его, не закусывая (она тактично отказалась). Подумал, что нужно было купить вина, что пора бы помазать подмышки дезодорантом, тщательнее выбрать лицо – а потом спьянел, устал думать, умучал её и

умучался сам. В пять утра, доделав отчёт, поднялся с кровати – шатало, картинка слегка расплывалась. Она и сама, похоже, всё поняла, выглядела расстроенной, но, аккуратно прикрыв за мной дверь, наверняка вздохнула с облегчением.

И я снова пошёл курить и курил так же, как и сейчас и так же, как и сейчас выдумывал объяснения, выстраивал диалоги. И ничего из этого на утро не озвучил, и при прощании промолчал, потому что понял сразу: что бы я сейчас ни сказал, прозвучит по-идиотски.

Щемящая песня кончилась вслед за дождём, откуда-то налетел ветер, да и я уже не шёл, шатаясь по тротуару, а бежал, опаздывая на поезд. Забитые никотином лёгкие сжимало, ноги не слушались, сердце быстро качало кровь. Я бежал и чувствовал, как лоб покрывается испариной, а где-то прямо под ним мозг начинает беспокоиться о том, что мы упустим последний рейс, о том, что мы уже выехали из отеля и нам негде ночевать – и так хочется в тепло, сесть на последний ряд в Сапсане и глядеть всю дорогу в окно.

Я прибавил ходу, виски колотились под бит незнакомой мне песни из списка рекомендаций и я то ли спешил на вокзал, то ли просто убегал от этого проклятого места, неловкости, желания и стыда.

Успел. Идя по тронувшемуся уже вагону, чувствовал, как принт футболки прилипает ко вспотевшей груди. К счастью, на соседнем кресле никто не сидел. Я закинул рюкзак на полку, повесил куртку на крюк. Поезд нёсся мимо петербург-

ских окраин и я чувствовал, как сохнет пот на лбу и груди, как сердце бьётся все размеренней и размеренней.

Поезд вёз меня к жене – родной женщине, с которой мы прожили без малого пятнадцать лет. Он вёз меня к пустым контейнерам после обеда, офису с погасшим светом, последнему закрытому шкафчику в вечернем спортзале. Я старался не думать, не думать вообще ни о чём. По приезду я прыгну в такси и переночую в отеле, я не поеду домой. Мне нужно остыть.

Назавтра я зайду в квартиру и, стесняясь несвежего запаха после сна изо рта, обниму жену, обниму ребёнка – и не произнесу про свой стыд ни слова.

Потому что понял ещё там, на перекрёстке недалеко от Московского вокзала, прижимаясь щетиной к чуть влажной и нежной щеке: что бы я ни сказал им обеим – всё прозвучит по-идиотски.